

Ханс Хенни Янн. Река без берегов. Часть вторая.

Свидетельство Густава Аниаса Хорна.

Тутайн не мог скрыть тягостного разочарования, которое овладело им. Никогда еще я не видел его более отчаявшимся, потерявшим опору, непривлекательным. Дело доходило до почти невыносимых проявлений его истерзанной души. Он, например, разыскал рисунок, на котором когда-то, в Уррланде, запечатлел меня, а после изобразил на нем мои внутренние органы, и прикрепил этот рисунок к стене залы, чтобы смотреть на него всякий раз, когда отправляется спать. Он падал передо мной на колени и обращал ко мне настолько бездонные и путанные молитвы, что я пугался и начинал дрожать, от стыда прикрывая глаза ладонью. Его душа становилась влажной от пота неотступных мыслей. Он боролся с одним из тех ангелов, о которых говорят, что они будто бы сообщают предписания божественной воли, когда какой-нибудь человек, достигнув наивысшей степени одержимости и уже оказавшись за гранью отщепенчества, нарушает общую мыслительную работу по обеспечению гармонии. Такие ангелы являются не как враги. Они не грозят проклятьем. Ведь противники, которых они разыскивают, уже уподобились им самим: стали независимыми от какого бы то ни было суждения и обрели крылья, черные ночные крылья.

«Я хочу, я хочу, я хочу, – кричал Тутайн, – чтобы я сросся с каким-то человеком, стал с ним единым целым. Хочу, чтобы мне было даровано больше, чем я заслуживаю. Хочу, чтобы для меня было даровано больше, чем я заслуживаю. Исключение там, где никаких исключений быть не может!» Он кричал очень громко.

Иногда он обращался и ко мне; тогда голос его делался тихим и вкрадчивым: «Неужели должно дойти до того, что я вспорю себе брюхо, и ты плюнешь туда, а потом я снова срastусь поверх твоей слюны...»

После он опять кричал на ангела, обзывая его трусливым кобелем, выходцем из профуканной вечности... Думаю, он этого ангела в конце концов одолел. И тот нашептал ему новую мысль. Потому что в один прекрасный момент кричащий Тутайн вдруг на полуслове замолк. И стал прислушиваться. Прислушивался он очень долго. А потом, не поднимаясь с колен, опрокинулся навзничь. Заснул. Я охранял его сон на полу. Я видел, как повлажнел его лоб, как влага вытекает из глаз; пальцы у него распухли, оттого что он цеплялся за половицы. Безграничная жалость вонзилась мне в сердце. Меня разрывала на части ужасная уверенность: что я присутствую здесь исключительно для того, чтобы слепо предоставлять этому человеку всю помощь, на какую способен. Ибо человек этот был мне доверен. Я разбудил Тутайна, тихо окликнув, растер его ладони в своих руках.

– Мне кажется, я среди бела дня заснул и видел сон, – бросил он как бы невзначай, поднимаясь на ноги.

– Мы вскоре узнаем, будет ли обман продолжаться, или для нас найдутся лучшие

возможности, – сказал Тутайн спустя некоторое время.

– Какой обман, и что за возможности? – спросил я.

– Мы завтра пойдем к городскому врачу и попросим его выяснить, каков состав нашей крови. В любом случае лучше, если я сойду с ума всего за неделю, чем если буду спускаться к этому состоянию постепенно, на протяжении нескольких лет вынуждая тебя испытывать все новые страхи.

– Я в самом деле не понимаю... – вяло запротестовал я.

– Ты – нечто другое, нечто большее, чем то, что я открыл в тебе до сих пор. Может, и во мне имеется что-то, чего нельзя вычерпать посредством одного только исступления... Святые Патрик, Коломбан, Галл, Виктор, Урс, Мейнрад, как и некоторые позднейшие, почти не отличимы друг от друга; даже имена их переходят одно в другое – Святая Коломба и Святой Коломбан, – а их истории в совокупности представляют собой первобытную историю святости. Все они прежде всего знатоки магии: исцеляют больных, возвращают зрение слепым и слух глухим, заклинают демонов, умирят диких зверей, волков, птиц (еще и Святой Иероним держит в рабочем кабинете льва); они утихомиривают морскую стихию; превращают дикие яблоневые деревья в окультуренные, со сладкими плодами; заставляют пшеницу расти быстрее, защищают ее от ветров и ливней; чудесным образом умножают поголовье скота; возле их гробов свечи зажигаются сами, без участия людей, а их мощи благоухают, распространяя дурманный аромат; они могут писать, сочинять стихи и петь на латинском, греческом и других языках, которые никогда не учили; мертвецы являлись к ним и рассказывают, что спаслись от адских мук благодаря их заступничеству; такие святые видят события, происходящие в отдаленных странах, и их рассказы об увиденном подтверждаются позднейшими известиями; такие святые борются с силами ада, и сам сатана искушает их, а на их могилах случаются чудесные знамения, – и таких святых известно пять или десять тысяч; так вот, один из них произнес слова, совершенно непонятные, если вспомнить о примитивной эпохе, когда он жил: он, дескать, благодарит Господа за то, что сотворенный мир прозрачен. Это сегодня – для тех, кто знаком с физикой, – такое представление обычно. Мягкие части наших тел рентгеновским лучам не помеха: лучи пронизывают их насквозь, подтверждая мнение упомянутого святого и современную атомарную теорию. (Как, конечно, и тот факт, что плоть наша весьма неустойчива, что она, можно сказать, пребывает вне времени.) Даже свинцовая болванка, несмотря на ее тяжесть и характерную для металлов плотность, представляет собой почти пустое пространство, где электроны, словно планеты вокруг Солнца, кружат вокруг своих атомных ядер. Повсюду – та же пустота, что и во вселенском пространстве. Против науки мало что можно возразить, как и против созерцательного духа мистиков. Но эти рентгеновские лучи, генерируемые стеклянной трубкой, из которой выкачали воздух, ничего не знают о нашей исполненной сладострастия душе. Мне кажется, эти лучи вполне можно считать олицетворением света мироздания, всего того, что там, в мироздании, становится все более разреженным, пока не потеряет полностью вкус, запах, форму, не сделается немым; однако для нас, людей, помимо

такой ясности гравитационного закона существует и темное. Если бы не было разницы между разумностью лучей и страхами нашей души, то неизбежно наступил бы конец и всякой боли... Так вот, ты для меня – темное; и в это темное я хочу пробираться ощупью, оставаясь слепым и исполненным ожидания. Я хочу когда-нибудь вспомнить, что было время, когда я, самым собою, кружил в тебе. Я обойдусь без рентгеновских лучей, знающих о своем превосходстве.

Так примерно он говорил.

Мы отправились к городскому врачу. К кавалеру ордена Серафимов и обладателю других высоких наград. К доктору Йунусу Бострому. Он, как всегда, был весел, но выражался расплывчато. Он забрал у каждого из нас по половине пробирки крови и сказал, поклонившись, что результат мы сможем узнать через неделю...

Время ожидания для Тутайна проходило тяжело. У него началось какое-то нервное недомогание, мешавшее принимать пищу. Лицо его стало пепельно-серым. Но после того, как он решил сократить это трудное испытание – необходимость дожидаться назначенного срока – и однажды вечером нанес доктору Бострому неожиданный визит, мой друг вернулся домой чуть не вприпрыжку.

– На сей раз, – сказал он, – вечные законы ничего против моего плана не имеют. Я нашел врата, пройдя через которые мы станем настоящими братьями. Настоящими братьями – пусть лишь на четырнадцать дней или на три недели.

Я невольно рассмеялся, потому что он представлял собой забавное зрелище. Он радовался, как кобыла радуется своему жеребенку. И тут же принялся с неумеренной жадностью есть – так наедаются зимой ломовые извозчики.

– Аниас, все дело в том, чтобы не сдаваться, – сказал он. – Нужно требовать, требовать своего и не бояться дать пощечину любой из судьбоносных сил, которые тебе противятся.

– Ты что-то слишком раздухорился, – сказал я не без опаски; но я все равно радовался вместе с ним, хоть и не понимал причины его радости.

Мало-помалу он раскрыл мне свой план.

– Наша кровь, которой в каждом из нас пять или шесть литров, – точно так же она пульсирует в каждом животном, переросшем одноклеточную структуру, и в деревьях и травах... она окрашивает зелень лес и сворачивается, обретая жуткий буро-красный оттенок, на дворах скотобоен, на полях военных сражений, на кухне во время праздничной кутерьмы, когда готовится жаркое для Йоля; так вот, эта кровь создает взаимосвязь между, с одной стороны, внутренними органами, которые пребывают в темноте (не будучи ни Богом, ни лучом, мы называем такое темным), а с другой – кожей и омываемыми воздухом легкими, которые жадно тянутся к свежему кислороду, как если бы это был свет (речь всегда идет о свете и тьме); кровь становится носителем тысяч невесомых сил, выделяемых

секреторными железами... и питанием для растущих образований, которым в организме поручены особые задачи, но которые лишены собственных аналогов желудка или кишечника... так, кровь изливается в почки, чтобы они могли накапливать мочу... многие миллиарды отживших кровяных клеток разрушаются в селезенке... железо, придающее крови устрашающе-красный цвет, поглощается печенью, которая благодаря этому вырабатывает желчь; а рождается новая кровь, миллиардократно, в недоступных местах нашего организма, в обители души: костном мозге. Эту кровь мы можем смешать. Во всяком случае, если речь идет о твоей и моей крови, то ничто не препятствует нам заменить одну на другую. Ибо случай, который смешал в каждом из нас двоих определенные виды и определенное количество гормонов, чем жестко predetermined характер происходящего в нашем нутре распада и восстановления тканей, объекты нашего вожделения и отвращения, модель нашей любви и доступную нам меру познания, – этот случай ничего против такого смешения не имеет.

(Но мы с Тутайном, конечно, не получили доказательства специфического родства между нами в том, что касается гормонов и лимфы. Тогдашний уровень биологических знаний скорее подталкивал к выводу, что такая схожесть внутренних функций очень маловероятна – что, если исходить из свойственных нашей цивилизации представлений о жизненных процессах и особенно о наследственности, никакого такого родства не может и не должно быть. Из-за легкомыслия и воодушевления у нас не возникло опасений относительно рискованного предприятия, ставкой в котором были наши жизни. Мы даже не сознавали опасности, а если б и осознали, то лишь посмеялись бы над ней – так я предполагаю. Третий же, имевший все основания быть более осторожным, находился в тот момент под воздействием яда.)

Тутайн вскоре перестал сдерживать себя и заговорил совершенно откровенно. К сказанному он присовокупил и другие аргументы: что мы приобретем лучшие познания друг о друге, что сможем пронизывать друг друга насквозь, как если бы перестали быть грубой твердой материей и уподобились бы лучам. Что если говорить о кровном братстве, которое прежде два человека могли ощутить только в момент одурманенности пищеварительным процессом, как тень настоящего чувства (мы тоже пытались испытать такое в часы своего исступления), и происходило это не иначе, чем при пожирании плоти жертвенного животного, – то отныне мы будем, оставаясь живыми, празднично наслаждаться каждой клеточкой и частью тела друг друга, причем безо всякого сношения с Косарем-Смертью, который при прежнем способе впрыскивал бы в наши желудки свои кислоты...

Итак, мы предложили себя доктору Йунусу Бострому в качестве объектов для редкого эксперимента. Он же в ответ произнес пространную наукообразную речь. На закваске веры в свои познания он поднимался над собой, как тесто возле теплой печи. Он сказал нам нечто бездонно-невразумительное: что игра эндокринных желез подчиняется статистическому закону и, значит, составляет субстанцию для любых реинкарнаций, но при этом, дескать, никак не связана с плодовитостью отдельных индивидов... Он гордо откинул голову и убежденным, сдавленным голосом объявил нам, что, несмотря на некоторые сомнения, готов

к такому эксперименту и берет всю ответственность на себя. Он, мол... (он, возможно, давно видел нас насквозь, или Тутайн сам – заранее, без всякого стыда – посвятил его в свой план. Тутайн стал очень неосторожным; а речи его порой казались чуть не циничными. Но ведь и доктор Бостром жил, не признавая запретов. Границы морально дозволенного, понятие о добросовестности врачебных действий в помутненном, отравленном сознании доктора становились весьма расплывчатыми... В нашем присутствии он взял шприц с морфином. «Это воодушевит меня, – сказал он, – и не принесет никакого вреда. Я разработал метод, устраняющий все негативные следствия – –» Мы были его сообщниками, а он – нашим.)

Тутайн заранее дал мне понять, что доктор Бостром лично заинтересован в этом эксперименте (речь шла о всегда нечистоплотном научном интересе) и что он рассчитывает избежать неприятных последствий благодаря нашему отъезду, который в любом случае состоялся бы. Поэтому я больше не обращал внимания на витиеватые рассуждения доктора. Мы двое были очень решительными статистами в причудливой медицинской драме...

Нас положили на две сдвинутые операционные койки, бок о бок. Из всей одежды нам оставили только брюки. Доктор Бостром бегло нас осмотрел. И сказал с легким презрением:

– Что это за рубцы под сосками? Ничего красивого в них не вижу.

Ответа он не получил. Да и не ждал. Он лишь заметил в связи с этой темой:

– Недавно один парень пятнадцати или шестнадцати лет накачал себе брюхо углекислым газом. Засунул шланг в прямую кишку и открыл вентиль стального баллона с газом. Парню помогали три или четыре товарища, хотевшие посмотреть, как выглядит раздувшийся человек. Эта игра, разумеется, закончилась смертью. По телу погибшего можно было бы выбивать барабанную дробь.

Левую руку Тутайна соединили подобием наручников с моей правой – руки были как две сестры, по-настоящему преданные друг другу. Потом между нами соорудили стойку с зажимами, его правую и мою левую руку тоже соединили, и эту вторую пару близнецов подвесили к стойке. На правое плечо нам наложили резиновый жгут. А над нашим сердцем укрепили выслушивающий аппарат.

– Я вам сделаю маленькую местную анестезию, – сказал доктор Бостром.

Он был мастером наркотических, эйфорических, фантастических, онирических, гипнотических и возбуждающих средств. Владел ампулами, содержимое которых меняет души. Он щедро делился этими волшебными силами. В чем мы уже убедились. Медсестра протерла нам спиртом предплечья; игла одного шприца четырежды вошла под кожу четырех рук. Потом врач именно в этих четырех местах, сделав маленькие надрезы, открыл мышечную ткань, нашел локтевые вены и вставил в каждую по тонкой канюле. Канюли, по две, были присоединены к трубкам с трехходовыми кранами, а каждый кран – к стеклянному насосу. Один из этих насосов обслуживал сам доктор Бостром, другой был доверен его молодому ассистенту.

– Так, – сказал главный экспериментатор и потянул вверх поршень насоса, – теперь мы докажем существование нового вида родства.

Молодой человек, неотрывно смотревший на руки доктора, повторил его движения, и я увидел, как две стеклянные колбы наполняются кровью. Моей кровью, кровью Тутайна.

– Так, – повторил доктор Бостром, когда обе колбы наполнились. – Пятьсот кубических сантиметров. – Он повернул кран, молодой человек тоже повернул свой кран. Оба теперь вжали поршни насосов внутрь, и кровь исчезла из колб. Моя исчезла в теле Тутайна, его – в моем.

Процедуру тотчас повторили.

– Тысяча кубиков, – сказала медсестра.

– Еще раз, – сказал доктор Бостром.

– Тысяча пятьсот, – сказала сестра.

Я увидел, что в руке у нее карандаш и что она записывает это число.

– Теперь мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям, – сказал доктор Бостром со сладострастной живостью.

– Мы чувствуем себя превосходно, – откликнулся за нас обоих Тутайн.

Доктор, казалось, не услышал этого замечания. Он лишь решительно сказал:

– Еще раз! Я провожу свои эксперименты основательно, а не абы как.

– Две тысячи, – сказала сестра.

Я почувствовал, что вроде как борюсь с подступающим обмороком. Но головокружение быстро прошло. Я лишь удивился, что, когда сестра произнесла «Три тысячи», доктор Бостром, с озабоченным видом, стал прослушивать мое сердце. Он спросил, будто обращаясь к стене операционной:

– Будем продолжать?

– До шести литров, – подтвердил Тутайн, – никак не меньше. Тогда выйдет половина на половину.

Тут вмешался и я:

– Само собой. Я чувствую себя превосходно.

– Закройте все же глаза, – посоветовал доктор Бостром. – Сестра, ватный тампон! И дайте мне приготовленный шприц!

Я послушно закрыл глаза; и глубоко вдохнул стерильный, острый запах. Я чувствовал себя необычайно хорошо. Я слышал цифры: четыре тысячи, четыре пятьсот, пять тысяч. И потом – голос врача:

– Скорей, скорей... сестра! Надо же довести до конца... Это меня интересует. Это важно. Мы и так потеряли время...

Канюли молниеносно исчезли из наших вен. Края ран на руках были соединены зажимами, сестра наложила повязки. (Кажется, сам я этого не видел.)

Меня знобило. Я приподнялся на локте. Тутайн, с улыбкой на губах, лежал рядом. Глаза у него были закрыты.

– Что с ним? – спросил я встревоженно.

– Последующий обморок, – сказал врач. И сделал Тутайну инъекцию. Прошло очень много времени – так мне показалось, – прежде чем Тутайн открыл глаза.

– Глупо, – сказал он, – что со мной случилось такое.

– Может, на несколько дней, предосторожности ради, положить вас в больницу? – спросил доктор Бостром.

Тутайн яростно запротестовал.

– Тогда я вызову машину, она отвезет вас домой, – сказал доктор.

– Согласен, – сказал Тутайн.

– Я вас скоро навещу, – заверил нас доктор. – Дальше все будет хорошо... Или совсем плохо.

Мы оделись. Медсестра сообщила нам, что наемный автомобиль стоит перед дверью. Она открыла нам дверцу и убедилась, что мы уселись на заднем сиденье. Дала какое-то указание водителю, которое я не расслышал...

– Уф, – сказал Тутайн, когда мы вошли в дом, – я чувствую потребность... но не могу сообразить, в чем.

– В сне, – сказал я коротко, после чего разделся и лег.

– Ты прав, – согласился он, но я из-за усталости еле-еле это расслышал.

Он еще что-то пытался говорить – дескать, он не знает, что принято называть шоком... «Однако со мной явно произошло нечто в таком роде...» На этой его фразе я заснул.

Он наверняка тоже лег. Потом я проснулся, от того что какой-то человек мне что-то втолковывал. Это был доктор Бостром.

– До вечера оставаться в постели... – говорил он.

– Как вы сюда вошли? – услышал я голос Тутайна, доносящийся с его дивана в зале.

– Через входную дверь, – ответил доктор, обращаясь теперь к Тутайну. – Она была открыта.

– Безобразие! – воскликнул Тутайн; но он остался лежать, он не вышел поприветствовать доктора.

– Это из-за переутомления, – сказал доктор Бостром, – и все-таки очень странно...

– Запишите, а то еще забудете такое ценное наблюдение, – съязвил Тутайн, так и не поднявшись с постели.

– По крайней мере, вы оба пока живы, – сказал доктор Бостром, – хотя ситуация странная. – Он опять подошел к моей двери. – Признайтесь, когда вы вчера легли спать?

– Сразу как вернулись, около полудня, – ответил из своего дальнего угла Тутайн.

– Что ж, оставайтесь в постели и спите дальше, – сказал врач. – Деньги у вас есть?

– Вы, надеюсь, не собираетесь требовать гонорар? – спросил в свою очередь Тутайн.

– Я договорюсь, чтобы вам принесли чего-нибудь поесть; но прежде хотел бы узнать, сможете ли вы заплатить за еду.

– Значит, можно надеяться, что переутомление не станет причиной нашей голодной смерти, – сказал Тутайн.

Доктор Бостром ушел. Я все еще чувствовал усталость, но и невыразимую легкость. Я сказал об этом Тутайну.

– Опустошен, – откликнулся он, – вот что можно сказать обо мне. Вернее, я чувствую себя так, как если бы был колоколом, в который сильно ударили, и теперь он не может не издавать гудящий звук. Я слышу в ушах шум собственной крови... или, правильнее сказать, ТВОЕЙ крови. – И он добавил, как бы в шутку: – Из чего можно заключить, что ты и вправду великий композитор. Я только одного не пойму: как ТЫ постоянно выносишь этот гул.

– Тебе следовало бы сообщить об этом доктору Бострому, – сказал я встревоженно.

– Я пока не сошел с ума! – донесся ответ из зала. – Плохо уже то, что он застал нас в постелях... Я только одного не пойму: как это дверь... Впрочем, конечно, ее оставил открытой Хольгер... А кстати, где он сам?

– Он, наверное, воспользовался паузой... и проводит время с какой-нибудь девицей... – сказал я.

Пришел грум и принес нам из городского отеля готовый обед, два стакана шнапса и две бутылки портера. Грум ушел. Мы с удовольствием пообедали. Потом Тутайн соскочил с постели, кое-как собрал посуду, вынес ее в контору и заодно запер входную дверь. Когда он вернулся, я понаблюдал через щель в двери, как он рассматривает повязки на своих руках и трясет головой, словно пес, которому в уши попала вода. Потом он снова лег, и я услышал, как он сказал:

– Я по-настоящему счастлив, хотя пока и не способен это чувствовать.

Наутро я встал с постели. Непривычное приятное чувство, будто пряная приправа, услаждало мою кожу. Неистребимая уверенность, что все будет хорошо, позлатила усталость, которая все еще сковывала руки и ноги. Мне вспоминались – что, собственно, сообщало грустный оттенок моим мыслям – всевозможные мелодии. Я и опомниться не успел, как уже сидел над нотными листами, сознавая, что в моих последних композициях, еще полностью присутствующих в сознании, необходимо кое-что исправить. Я испытывал сильнейшее искушение взять чистый лист нотной бумаги и записать парочку новых идей. Я с большой неохотой поддался доводам разума, подсказывавшего, что сейчас такую затею лучше оставить. Уж не знаю, на какие подвиги я бы сподобился, если бы необъяснимая телесная слабость не препятствовала мне буквально во всем. В конце концов я оказался достаточно заботливым, чтобы позаботиться о Тутайне, который до сих пор спал. Я наспех сварганил какой-то завтрак и принес это ему в постель.

Он проснулся.

– Жизнь, значит, продолжается, – произнес он, явно не без усилия.

– Да что с тобой? – разочарованно спросил я.

– Я много чего видел во сне, – сказал он. – Видел ужасные вещи. Мне встретились, по меньшей мере, сотня знакомых и друзей, дюжина капитанов и штурманов и множество матросов. Большинство из них было с подругами. Мне приходилось разговаривать с ними. И я вдруг понял, что я их вообще не знаю, что они просто морочат мне голову, рассказывая о будто бы связывающих нас дружеских отношениях... Все они наверняка только призраки с одного океанского парохода, который погрузился в морскую пучину со всеми потрохами: мужчинами, и мышами, и каким-то количеством дам... Подобные вещи уже случались со мной в моменты беспомощности. – И он прибавил бездонную фразу: – Такие сны смущают. Они проходят сквозь нас, как рентгеновские лучи.

Я ничего не мог ему возразить, да и не хотел. Только бросил короткое:

– Поешь!

– Хороший совет, – сказал он, – только я не голоден.

– Надеюсь, ты не заболел? – спросил я. И сразу барьер ледящего отрезвления притормозил поток моей жизненной энергии, вновь обретенной. Только гораздо позже я ощутил замешательство и страх.

– Нет, я здоров, – сказал он. – Собственно, я по-настоящему счастлив, только пока не способен это чувствовать.

– Вчера ты уже говорил это, – откликнулся я.

– Из чего ты можешь заключить, что так оно и есть, – убежденно произнес Тутайн. – Впрочем, мне кажется, меня сейчас стошнит, – прибавил он жалобно и тут же начал давиться блевотиной.

Приступ быстро прошел; но повторялся еще два раза, прежде чем Тутайн решился отхлебнуть глоток кофе.

– Я, собственно, не понимаю... – пробормотал он, тяжело ворочая языком. – Мне очень хорошо; но я не нахожусь в реальном мире. Я постоянно вижу сны. Сны, которые я смотрю с открытыми глазами, послушны мне и красивы – послушнее и красивее, чем те набег умиравших или уже умерших, о которых я тебе давеча говорил. Я теперь совершенно отчетливо вижу сквозь свою кожу. Так, как когда-то увидел тебя на французской картине. Я вижу – здесь и сейчас – ангела, ангела цвета «английский красный», каких Жан Фуке нарисовал на картине, где Агнес Сорель, знаменитая возлюбленная Карла VII Французского, представлена в образе Девы Марии. Ангелы на этой картине отчасти синие и отчасти красные, так изображается в книгах по анатомии схема нашего кровообращения. Но сквозь свою кожу я вижу только красное: пряжу, которая исходит из сердца и проросла сквозь меня, словно корневище, пронизывая все мое тело пучками кровеносных сосудов; и,

приглядевшись к этой пряже пристальнее, я вдруг осознаю: Ты еси.

– Давай, ешь! – повторил я еще раз, грубо.

– Я боюсь, что разрушу в себе этот образ, если буду есть, – сказал Тутайн тихо, – потому что тогда к нему примешается желудочный сок. – И прибавил: – Я думаю, ты меня не понимаешь. Я чувствую больше, чем способен выразить в словах. Мои представления – чудовищно сладостные и разрушительные... Однако ты хочешь сохранить мою жизнь. Хорошо, тогда я съем что-нибудь.

Он начал есть.

Хотя теперь Тутайн ел, мой страх – что он, быть может, действительно болен – усилился. Тревога побуждала меня мучить его расспросами. Это привело лишь к тому, что Тутайн наконец осознал, как сильно он нездоров, и стал предпринимать отчаянные попытки доказать мне обратное. Он покинул постель и перебрался в кресло, но и там заснул.

Когда пришел доктор Бостром – чтобы вытащить нам зажимы, стягивающие края ранок, – обнаружилось неожиданное. У Тутайна в этих пустяковых ранках образовался гной. Доктор неодобрительно покачал головой и наложил ему новые повязки.

– Какая-то малость в вас воспротивилась нашему эксперименту, – сказал он деловым тоном.

– Вы даже не представляете, насколько помолодевшим я себя чувствую, – ответил Тутайн (прежде слышавший подобную фразу от меня). Немного гноя... – вы знаете не хуже, чем я, что ничего страшного в этом нет. Просто от соседа по койке мне досталось слишком много белых кровяных телец, и теперь они стремятся выйти наружу.

– Вы неглупый человек, – сказал доктор Бостром, – но объяснение ваше негодное.

- - - - -

У нас не получилось сбежать от доктора. Тутайн не чувствовал себя готовым к путешествию. К счастью, оказалось, что он, собственно, не болен, а только физически ослаблен и непостижимым образом отрешен от всякой действительности и от ответственности. Слушая его речи, можно было подумать, что он переживает чудесный душевный подъем. Однако, присмотревшись к нему пристальнее, я прочитывал в его больших беспокойных глазах, что он страдает. Какая-то недоступная сознанию часть его тела страдала. У меня же, после того как усталость первых дней прошла, осталось такое богатое ощущение собственного достоинства, уверенности и свежести, какое лишь в юности изредка переполняло меня – когда, например, я сидел в театре и там разворачивалась оперная увертюра, с темными пьянящими колебаниями, или когда диалоги в драме красиво или ожесточенно – но, в любом случае, неотвратимо – сгущались в бурю человеческих душ, в триумф зла, в безбожную трагическую действительность, где добро пытается утвердить себя в одиночку и в этом языческом одиночестве угасает, словно незащищенное пламя свечи, вынесенное из дому в грозовую ночь... Я в те минуты думал, что и от меня, стань я создателем художественных

произведений, могло бы исходить что-то наподобие такого величественного действия – звуки или слова, некое предложение людям, исповедание веры. – И вот теперь, после стольких лет, это ощущение, это юношеское ощущение уверенности в себе появилось снова, как будто оно никогда не исчезало, не подавлялось. Да, я опять был молод; я чувствовал эту струящуюся радость. Я разбил темницу своего духа, я снова начал записывать ноты. Мое бытие уподобилось периодически изливавшемуся источнику.

Противоположность между странным самочувствием Тутайна и моим собственным счастливым состоянием порой представлялась мне совершенно невыносимой. Однажды я даже с досадой крикнул:

– Теперь выяснилось, кто из нас двоих лучший! Моя кровь отравила тебя, хотя, судя по основным показателям, она совместима с твоей; твоя же кровь освободила меня от всех тормозящих факторов. Мне было оказано благодеяние; а худшее бушует в тебе, словно прожорливый зверь.

– В мире материи действуют извращенные законы, – живо откликнулся он. –
Неблагоприятные качества порой сочетаются с телесным благополучием. Дурные поступки нередко вознаграждаются. Стоит только всем сердцем захотеть дурного, и ты пожнешь удовольствие...

Я попытался его перебить; но он упорно не давал мне вставить ни слова.

– Ты великий музыкант, я тебе это часто говорил; но теперь моя убежденность в этом стала ощутимой. Поначалу, после эксперимента, я слышал только неистовый рокот темных звуков, какой может исходить от бронзового колокола или от тяжелой неподъемной пластины, если по ней ударить. Однако теперь дело с моей здоровой телесной непробиваемостью обстоит так, словно по мне уже отзвонили панихиду: панцирь, который состоит из хорошего пищеварения и влажных грез, подсказанных промежностью, сломан; и отныне я могу слышать те песни, которые проникли в меня вместе с тобой.

Я смущенно рассмеялся.

– Это бесконечно красиво. Как если бы кто-то умирал и, умирая, рухнул на обнаженное живое тело, белое и юное и дышащее, готовое к любви; и он бы тогда ощутил свою смерть как объятие.

– Песнопение миров присутствует во всех нас, – отмахнулся я. – Оно становится слышным при лихорадке; когда мы ослаблены, тогда оно и слышно. Обмороки, наркоз, монотонный дождь, черная ночная буря, мочеиспускание – когда наш мочевой пузырь настолько полон, что вот-вот лопнет, – облегчение, которое мы иногда позволяем испытать своим чреслам, тишина, когда мы совершенно одиноки: все это делает ясно различимым тот самый неисчерпаемый аккорд... Значит, то, что ты ощущаешь или чем наслаждаешься, – не мое достояние.

Вместо ответа он принялся насвистывать:



Я был безгранично удивлен. Я даже не мог говорить. Но Тутайн, после того как закончил, заговорил:

– Не с неба же я это сорвал? Разве я, обладающий не бóльшим музыкальным слухом, чем скотина на выгоне, мог бы такое придумать?

Я взял чернила и бумагу и записал мелодию. После чего, как записной скептик, сказал:

– Это красивая тема. Если ты в самом деле услышал ее как нечто чуждое, проникшее в тебя извне, тогда она непременно разрослась бы, тогда ты знал бы и спутниц этой строки, тогда –

Он снова открыл рот, но на сей раз запел, и я услышал чудесное ветвление звуков.

Я вскочил.

– Тутайн, – сказал я с нажимом, – тут что-то не так: это, наверное, воспоминание из прежних дней. Мне кажется, будто я знаю эту мелодию; так или иначе, я теперь не могу не думать о ней...

На сей раз именно я веду себя как верующий, а ты, как неверующий, – сказал он. – Ты сам громоздишь все больше свидетельств, подтверждающих, что это пришло ко мне с твоей кровью, – но используешь их исключительно для того, чтобы выставить меня дураком. Давай не будем спорить о вещах, в которых я совершенно уверен, ты же их признавать не желаешь... Если мы разошлись во мнениях, нам нужно лишь снова вспомнить предпосылки нашего совместного бытия. В то время, которое уже прошло, ты любил меня и знал, что я – человек, убивший твою возлюбленную. Ты дотрагивался до моей обнаженной кожи и знал, что перед тобой убийца. Какое бы испугание мы себе позже не позволяли, ты не ведал стыда и не колебался, хотя понимал, что в итоге станешь виновным. Ты в конце концов омыл свою душу и свои внутренние органы моей кровью: ergo, ты несешь половину моей вины, и мы оба одинаково хороши или одинаково плохи. – С меня снят тяжкий груз. Я больше не могу тебя потерять. В последние дни я готовился умереть. Ты захотел, чтобы было по-другому. Не захотел освободиться от меня. – А о той музыке мы лучше умолчим.

Книга на сайте издательства: Янн Ханс Хенни. Река без берегов: Роман в трех частях / Пер. с нем. Т. А. Баскаковой; коммент. Т. А. Баскаковой. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013.

Рекомендуем: Татьяна Баскакова. Плавание по реке, текущей к истоку (фрагмент послесловия к первой части трилогии Ханса Хенни Янна).